

© 1991 г.

НИКОЛАЕВА Т. М.

ДИАХРОНИЯ ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ? (Об одной тенденции развития языка)

I

При обсуждении фактов языковых изменений могут встать четыре вопроса: изменяется что (или что во что?); как?; почему? и зачем? Распространенными в сфере историко-лингвистических достижений являются обычно ответы на первые два вопроса. Вопросы третий и четвертый часто смешиваются (ср. нейтрализацию их семантики в речепотреблении: *Он сделал это из-за денег* и *Он сделал это ради денег*). В этом смысле дву-семантичен часто применяемый сейчас в диахронических исследованиях термин «объяснение» (explanation) [1—4]. Мыслимо ли объяснение процесса без понимания механизма этого процесса? Мыслимо ли понимание каузирующих явлений без прогнозирующих выводов? Предполагает ли телеологическая интерпретация лишь вероятность достижения цели и стремления к ней или это достижение абсолютно? И, наконец, языковые тенденции к изменению — это средство, причина или цель? Например, «принцип лени» (Е. Д. Поливанов) — это причина, но принцип экономии в языковых изменениях (А. Мартине) — может быть и целью, и причиной, и средством (экономия имеет смысл для осуществления некоей цели).

Телеология в языковых объяснениях, однако, отрицается и сторонниками объяснительного подхода в диахронии. Так, Р. Лэсс [1, с. 131] считает, что все изменения возможны, но не обязательны, что язык меняется подобно моде или искусству; язык — отчасти и игра, поэтому изменения не всегда естественным образом закономерны. Между тем почти сто лет назад прозвучали слова замечательного философа Вл. Соловьева: «Ряд изменений без известной исходной точки и продолжающийся без конца, не имея никакой определенной цели, не есть развитие ... Определив закон развития, мы определим и цель его» [5, с. 142]. «Наука, как ее понимает позитивизм, отказываясь от вопросов *почему* и *зачем* и что *есть*, оставляющая для себя только неинтересный вопрос *что бывает* или *является*, тем самым признает свою теоретическую несостоятельность» [5, с. 167—168].

Много позже эти идеи были обращены к языку Р. Якобсоном: «В нынешней иерархии ценностей вопрос к у д а котируется выше вопроса о т к у д а... Ц е л ь, эта золушка идеологии недавнего прошлого, постепенно и повсеместно реабилитируется» [6, с. 144].

Но в то же время и принятие телеологии языкового развития, столь многими отрицаемой, еще не означает принятие идеи единой цели: в принципе вопрос о цели может быть решен плюралистично — либо у разных языков могут быть разные цели, либо эти цели могут варьироваться в процессе изменения, либо обе эти возможности могут сочетаться. Наиболее четко понятие однонаправленности языкового движения как тенденции

глобального характера (не дробящейся на обязательные дискретные стадии) было определено Э. Сэпиром, с которым и связывается концепт движения (drift): «... историческое изучение языков вне всяких сомнений доказало нам, что язык изменяется не только постепенно, но и последовательно, что он движется бессознательно от одного типа к другому и что сходная направленность движения наблюдается в отдаленнейших уголках земного шара. Из этого следует, что неродственные языки сплошь да рядом самостоятельно приходят к схожим в общем морфологическим системам» [7, с. 95]. (Последователями Э. Сэпира эта тенденция — drift — прослеживается уже в различных знаковых системах: см. [8].)

Однонаправленность развития неоднократно отмечалась для разных участков языковой системы и принималась в качестве бесспорного факта с полным единодушием — особенно, если эволюционирующий компонент был достаточно узким. Например, В. А. Дыбо, анализируя движение развития акцентных систем, приходит к выводу, что движение осуществляется от систем с фиксированным акцентом к системам со свободным ударением, а от них языки с парадигматическим акцентом движутся в сторону категориально-ориентированных акцентных систем [9].

Исследуя так называемый «прогрессивный акцентный сдвиг» в южнославянских языках [10], В. Вермеер намечает однонаправленную схему его прохождения: шесть этапов, распределенных от перехода со слабого ера на открытый конечный слог (*sztd*) до переноса от «полного» гласного на открытый следующий слог (*oči*). Для литовского языка, например, до 1650 г. удлинение ударного происходило на неконечных низких гласных в корнях и двусложных суффиксах, потом удлинялись ударные низкие гласные в корнях у заимствованных слов, затем — все корневые ударные. Таким образом, происходил однонаправленный процесс маркирования ударного гласного через продленность [11].

Локальную однонаправленность языкового развития можно проиллюстрировать и примерами категориального синтаксиса. Например, среди диахронических универсалий, сформулированных Дж. Гринбергом, есть положение о том, что согласованные определения должны тяготеть к препозиции, несогласованные — к постпозиции [12]. В старославянском языке порядок слов выполнял иную функцию: в препозиции к имени ставился подчеркнутый посессив, в постпозиции — нейтральный: възлюбиши га ба твоего всѣмъ срдцемъ твоимъ и всѣмъ дшею своею. | всѣмъ мыслью твоею (Мф. 22—37) или възъзми одръ твою. | иди въ домъ свои (И. 5. 8), но нбо и землѣ прѣидеть. а моѣ словеса не прѣидѣтъ — (М. 13.31) (более подробно о корреляции с греческим словопорядком см. [13]). В раннем периоде истории русского книжного языка была представлена такая же семантика посессива. Препозитивным был и родительный принадлежности: *Петров дом* и *Петра дом*. Сочетание *дом Петра* отмечается лишь в XVII в. Даже в начале XVIII в. посессивный родительный в постпозиции был представлен в 64%, препозитивный — в 36% [14]. Таким образом, на некотором промежуточном этапе содержательная сторона словопорядка в словосочетании была нейтрализована. В дальнейшем изменяемый посессив оказался в препозиции, а родительный принадлежности перешел в постпозицию. Другими словами, русский язык в своем развитии пришел к статусу применимых определителей, сформулированному Дж. Гринбергом (см. подробнее об этом [15]). Число подобных примеров может с легкостью умножить любой специалист в той или иной области языкознания.

Эволюционный и единообразный (униязыковой) принцип развития отмечался и для самых ранних этапов становления тех или иных категорий. В качестве примера можно привести гипотезы трех лингвистов разных научных школ — Дж. Охала, Т. Гивона и Л. Г. Герценберга.

Дж. Охала в своих работах по тоногенезу [16—18] принимает изначальную перцептивную близость консонантов, но после глухих тон гласного оказывается выше, чем после звонких (или, говоря иначе, глухие создают высокий тон, звонкие — низкий); после этого происходит фонологизация тональных различий, перцептивно связываемых уже с гласным, и разные тоны оказываются возможными уже и после глухих, и после звонких, т. е. из *p'a* и *v'a* через ряд ступеней получается *p'a*, *v'a* и *p'a*, *v'a*. Неясным только в его общей концепции тоногенеза остается то, почему в одних языках тоновые различия сохраняются, а в других нет (см. нашу концепцию ниже).

Л. Г. Герценберг связывает становление фонем с формированием слова из слогоморфем, т. е. с переходом от языка слогоморфемного типа к языку, в котором главной единицей является слово [19]. Именно так возникает гетеросиллабическое состояние корня, корень утрачивает связь со слогом. Аллофоны, зависевшие от соседних просодических характеристик, приобретают самостоятельный фонологический статус. Таким образом, и Дж. Охала, и Л. Г. Герценберг конструируют и допускают некоторое состояние «до первотолчка»: до-тональное, до-фонологическое, до-словное. Впоследствии подобное состояние уже не регистрируется.

Сфера интересов Т. Гивона и сходно мыслящих с ним лингвистов (см. [20]) направлена на грамматико-синтаксический аспект становления ранних языковых систем, поскольку в центре внимания находится коммуникативный уровень, а движущей силой при таком подходе является человек и развитие его дискурсивных установок. Наиболее архаичный порядок элементов в высказывании («прагматический код») параллелен развертыванию элементов в коммуникативной ситуации. В дальнейшем иконическое становится знаковым. Осуществляется переход от прагматического кода к собственно языковому — «синтактизация» [21]. При синтактизации речевая единица превращается в языковую — у каждого языка специфическим способом. Метод реконструкции протофактов приложим к синтаксису лишь с натяжкой, поскольку синтаксические модели в их различии не сводятся к единой архетипической конструкции. В свою очередь синтаксические структуры модифицируются возникающей флективной морфологией. Имеет место так называемый «ре-анализ», т. е. перераспределение, переформулировка, добавление или исчезновение компонентов поверхностной структуры. Движущей отправной точкой языковых изменений в этой концепции является сам говорящий и окружающий его мир. Поэтому коммуникативная значимость и подверженность изменениям членов одной и той же словоизменительной парадигмы различна. Так, развитие неопределенных местоимений и артиклей осуществляется обычно после определенных мировоззренческих сдвигов — нужно иметь понятие о широком однородном классе; позже других времен развивается Futurum как выход за пределы реального осуществляющегося действия. Многие разнофункциональные явления в этой концепции связаны. Например, связаны появление перфекта, порядок слов (от VS к SV) и степень известности субъекта топика в древнееврейских текстах [22]: в более поздних текстах кругозор носителей языка расширяется, возникает потребность в анафорике для отождествления объекта внутри

увеличивающегося класса актантов. Выделение новых актантов и их поступков влечет за собой порядок SV и возникновение неимперфектных форм.

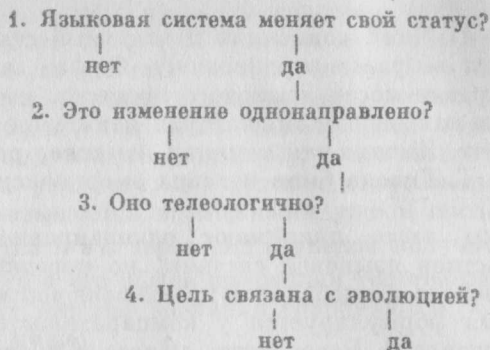
Таким образом, и в этой концепции ментальный статус архаического языкового состояния не равен позднейшему. Сделав еще шаг в сторону признания однонаправленности языкового процесса, мы переходим к пониманию диахронии как эволюции, которая неизбежно включает в себя оценочный компонент. Именно так понимал языковое развитие О. Есперсен: недаром книга Т. Гивона была названа американскими лингвистами «есперсенианской».

Итак, языковеды часто принимают однонаправленную эволюцию для отдельных участков языковой системы, но нередко решительно отрицают ее при переходе к глобальной постановке вопроса. Наиболее отчетливо эта позиция формулируется у компаративистов. Показательно следующее высказывание Э. Бенвениста: «Ничто в прошлой истории, никакая современная форма языка не могут считаться „первоначальными“». Изучение наиболее древних засвидетельствованных языков показывает, что они в такой же мере совершенны и не менее сложны, чем языки современные» [23, с. 35]. С такой же убежденностью высказывается позднее и О. Семереньи: «Можно, по-видимому, считать аксиомой, что индоевропейский праязык не мог обладать свойствами, которых нет ни у одного языка на земле» [24, с. 154].

В уже упоминавшейся книге Р. Лэсса [1] эти положения являются базой аксиоматики. Принцип неизменности — униформитарная аксиома, «принцип пантемпоральной униформности». Таким образом, «ничто, не оправданное должным образом в настоящем, не может быть справедливым для прошлого» [1, с. 55], «ни одна реконструируемая единица или конфигурация единиц, процесс изменения или стимул для изменения не могут относиться только к прошедшему» [1, с. 50]. Следовательно, в отличие от других творений человека, языковая система не может иметь ни тупиковых образований, ни архаических состояний, далее не отмечаемых, в языке всегда настоящее является активным аргументом для верификации феноменов любой давности. Так ли это?

Если и не останавливаться на философских основах подобной концепции, не обязательных для анализа в настоящей статье, можно все же высказать относительно нее несколько соображений. Во-первых, по-видимому, за такой концепцией стоят позитивистские установки той поры, когда на языковые системы переносились методы изучения неживой природы, лишенной внутренней телеологии в своих изменениях. Стремление подогнать языкознание, объект которого, видимо, является беспрецедентно и безаналогово сложнейшим, под «точные науки» в определенное время осознавалось как желание «улучшить» лингвистику. Во-вторых, возможно, сказывалась и характерная для человека идеализация прошлого, идеализация архаики. В-третьих, очевидно, не исключено влияние теории возникновения языка независимо от человека (хотя и в этом случае можно предположить, что произошло неполное усвоение переданных ему знаний, которые впоследствии по определенной программе эволюционируют). В-четвертых, принятие телеологии вместе с эволюцией неизбежно означает и учет аксиологического компонента этой теории. Тем самым языки могут быть иерархизированы и соответствующим образом оценены. Наконец, принятие эволюционной идеи во всем ее объеме может явиться стимулом для пересмотра ряда привычных положений исторического языкознания, кажушихся сейчас аксиоматичными.

Все перечисленные выше взгляды на суть языкового изменения можно изобразить в виде ветвящейся схемы:



II

Дж. Гринберг, говоря о возможности определения диахронических универсалий [25], объясняет отсутствие в настоящее время в науке эксплицитно выраженных исторических — «законов» множеством факторов. Среди них — несинхронное возникновение диахронических процессов в разных языках, ограниченность выведенных законов определенной хронологией, возможность их циклических повторений и т. д. Поэтому, как считает Дж. Гринберг, существенно построить теорию меняющихся с о с т о я н и й (строго говоря, обсуждается нечто близкое к теории стадильности).

Не анализируя все поднятые Дж. Гринбергом проблемы, мы намереваемся в настоящей работе вынести на обсуждение одну подмеченную нами общую тенденцию языкового развития, которую было бы слишком ответственно именовать законом. Сформулировать эту тенденцию можно так: язык стремится к передаче все большего количества информации в единицу времени.

На естественный вопрос — что такое информация и ее количество, ответ пока предлагается самый наивный: информация — это все, что мы узнаем, выслушав (или прочитав) речевое сообщение. Информация — это и сведения о передаваемой ситуации (локальные, темпоральные сведения, сведения о количестве актантов и их отношениях), модально-субъективные факты, все феномены звукового строя, паралингвистические моменты и др.

Остановимся на этой тенденции подробнее (кратко об этом см. [26, 27]). В соотношении «языковая единица / единица времени» модифицироваться может только языковая часть. Как известно, язык характеризуется «двойным членением»: по звуковому и по смысловому основанию. Поэтому целесообразно остановиться поочередно на каждом из этих феноменов. Наблюдений и известных сведений в целом по этим проблемам так много, что они могут быть темой большой монографии, поэтому приводимые ниже примеры будут служить только иллюстративным целям.

Общие для звука и смысла положения формулируются следующим образом:

1. Тенденция к передаче все большего числа информации в единицу времени осуществляется в языках двумя способами: а) к о м п р е с с и е й, б) с у п е р с е г м е н т и з а ц и е й.

2. В языках, эволюционировавших в большей степени, сформулированная тенденция реализуется в большей степени (сейчас мы оставляем в стороне оценочную сторону этого явления: хорошо ли для нас, что мы

передаем и получаем все более компрессированную информацию, или нет).

Из сказанного вытекает, что возможны как звуковые, так и смысловые компрессии и суперсегментизации.

Звуковой аспект.

Самый простой способ компрессии — это говорить быстрее. Но препятствием при этом является временная ограниченность артикуляторных движений. Как показывает реальный эксперимент, временное расстояние между двумя артикуляторными единицами не может быть менее 55—70 мсек [28]. Данные других авторов [29] свидетельствуют о том, что требуется примерно 30 мсек для опознавания инициального звука речи. Г. Фант с соавторами приходит к выводу, что в речи не допускается обычно более двух фразовых ударений в секунду [30]. Все это говорит о пределах временного компрессирования.

Язык может, не нарушая перцептивных законов, обуславливающих указанные возможности компрессии, двигаться в сторону передачи большего объема информации в единицу времени путем модификации речевых единиц, т. е. слов и их компонентов. Это — различного рода явления коартикуляции в пределах слога и слова, модификации безударных слогов (при этом они оказываются различными по языкам [31]). В то же время в таких типологически неблизких языках, как французский и белорусский, обнаруживается меньшая компрессия гласных по сравнению с согласными (см. параллельные опыты [32, 33]) и т. д.

Тот факт, что причиной языковых изменений, и в частности фонологических изменений, является убыстренная, аллегроявая речь, широко известен и является как бы языковедческим трюизмом. Можно поставить вопрос и иначе: язык изменяется не потому, что его носители вдруг стали говорить быстро, а люди потому говорят быстрее, что внешние и внутренние речевые обстоятельства заставляют язык перестроиться. Интересна в этом плане отмеченная в эксперименте языковая универсалия: асимметрия перехода от нормального темпа к медленному и от нормального темпа к быстрому [33] (в последнем случае языковых изменений меньше, т. е. речь как бы движется в сторону убыстрения) [34].

Однако увеличение фразово-мелодической нагрузки, суперсегментизация, осуществляются тем успешнее, чем больше в данном языке осуществляется возможность слияния слов в некоторое большее единство — так называемый речевой такт, тонально-мелодическую группу. Для того чтобы фразовый контур был воспринят и тем самым усвоена еще некая информация, в языке должно активно выражаться свойство, которое удобно назвать *слитностью*. Слитности мешают такие свойства слова, как тональное (музыкальное) ударение и фонологически значимая долгота, т. е. феномены, которые препятствуют сильной временной компрессии и дальнейшему «оконтуриванию» группы слов. Уже достаточно давно это явление было очень точно сформулировано И. М. Тронским: «Музыкальный характер греческого ударения ставил известные грани возможности использования тонального движения в синтаксической функции... Там, где современные европейские языки располагают многочисленными средствами варьировать мелодику речи, древнегреческий язык, стесненный фонологизированной тональностью своего словесного ударения, ... вынужден был прибегать к служебным словам» [35, с. 57].

Очевидно неслучайно, что политония сохраняется лишь на периферии европейского ареала (Север и Балканы). В целом же Европу — родину основных международных языков — отличает, как писал Р. Якобсон,

отчетливое стремление к монотонии [16]. Интересным в этом плане является тот факт, что немецкий язык, сохраняющий в речевом потоке отдельность слова и осуществляющий компрессию, не выходя за рамки слова, все более перестает быть активным международным языком. Коллектив авторов измерял длительность немецкого ударного гласного /a/ и ударного слога /trakt-/ в последовательностях *Der Trakt gab den Ausschlag — Der Trakt ergab den Ausschlag — Der Traktor gab den Ausschlag — Der Vertrakte gab den Ausschlag... Der Vertraktete ergab den Ausschlag* [36]. Увеличение длины отрезка за пределами слова с корнем *trakt-* не влияло на компрессию ударного гласного /a/. В то же время на базе английского языка уже многократно делался вывод о том, что нет необходимости выделять уровень слова в английской беглой речи [37]. Международный язык в течение долгого времени — французский — известен максимальным выражением слитности.

До сих пор речь шла как бы только об имманентных языковых свойствах, однако за всем этим стоят, разумеется, и мощно воздействующие экстралингвистические факторы. Так, развитием христианства, потребностью именно в христианских проповедях, вообще — меной европейского и ближневосточного *modus vivendi* объясняют переход в первых веках новой эры латинского и греческого языков к динамическому ударению (греческий освободился от музыкального ударения, латинский — от системы долгот) [27].

Таким образом, просодическая обособленность слова есть препятствие для слитности и развития парадигматики мелодических контуров и тем самым для увеличения информации в единицу времени. Отсюда вытекают и почти прогностические утверждения. Контрастивные сопоставления, параллельно проведенные для русского и болгарского языков [38—39], продемонстрировали большую степень «сандхизированности» (слитности) русского языка. При этом в одном из исследований [38] прямо говорится о том, что в русском языке благодаря сандхи оказывается больше возможностей для мелодических контуров разного типа, чем в болгарском.

Закономерно в связи с этим, что Р. Ф. Пауфوشима говорит о пословном произнесении в северных русских говорах [40] и указывает, что именно в этих говорах ею обнаружены следы музыкального ударения [41]. Таким образом, эволюционная концепция может открыть дорогу и несколько непривычному, хотя, на наш взгляд, и заманчиво перспективному подходу к изучению живых диалектов: не только рассматривать их как бесценное хранилище реликтов, но и постараться понять, что отсутствует в их системах по сравнению с продвинутым и развитым литературным языком, т. е. чего диалектам не хватает или на чем они остановились. Э. Палгрэм предложил деление языков на *cursus language* — язык просодически слитный, не разделяющий поток на слова, и *nexus language* — пословный язык [42] (Существенно в свете излагаемой нами концепции, что, по теории Э. Палгрэма, латинский «письменный» язык был курсусным, а латинский «устный» — некусусным.)

Естественно, что международную значимость все больше и больше завоевывали именно курсусные языки, обеспечивающие своей слитностью разнообразие смысловых мелодических контуров и обретавшие тем самым возможность не выражать дополнительных коннотаций на лексико-сегментном уровне.

Воплощение указанной эволюционной тенденции на уровне содержательного аспекта «двойной артикуляции», как мы считаем, симметрично

(или параллельно?) развитию звукового аспекта. Здесь также можно говорить о компрессии и о суперсегментизации.

Под компрессией здесь можно понимать уменьшение числа значимых единиц в пределах большей единицы, т. е. примерно то, что Т. Гивон называет синтактизацией. Иначе говоря, перед нами все больший отход от близкого к иконичности прагматического кода. Таким образом, уменьшается число дискретных единиц в пределах слова. Возникают флективно-фузионные процессы, следствием которых является «склеивание» единиц плана содержания, ранее передававшихся разными знаками. В частности, речь идет об уменьшении единиц в пределах синтаксических конструкций и становлении так называемых синтаксических оборотов, всех видов конструкций с *verba infinita* и т. д.

Суперсегментизация на звуковом уровне понимается нами как появление дополнительной смысловой строки, относящейся ко всей речевой единице, но эксплицитно к сегментной единице не привязанной. В соответствии с этим, как мы утверждаем, суперсегментностью на содержательном уровне являются *пресуппозиции*. Это утверждение, несомненно, требует доказательств. Например, должно быть доказано, что пресуппозитивные частицы типа *даже* появляются в истории языков позже, чем соединяющие частицы-коннекторы, столь характерные для древних языков. Кстати говоря, само понятие «древние языки» во многом амбивалентно. Это — и архаические языки, и языки высокой культуры, прошедшие большой эволюционный путь. В этом смысле, как будет показано далее, греческий язык был более зрелым по сравнению со старославянским. Понятно, что утверждение Э. Бенвениста о том, что все древние языки по своему «ценностному уровню» равны между собой, вряд ли можно считать универсальным. (Ср. в этой связи замечание М. Бауэровой о трудностях перевода с такого «созревшего» (*výspělého*) языка, как греческий, на старославянский [43].)

Таким образом, на обсуждение выносятся вопрос о дополнительных смысловых строках, о «теневого семантике», многочисленные факты которой демонстрирует теория пресуппозиций. Они возникают при инверсии (для этого, естественно, нужен стабилизировавшийся *ordo naturalis*, иначе инверсия не будет семантически маркированной). Теневая семантика возникает при акцентном выделении, при введении особого рода частиц и под.

Специального доказательства требует вопрос о едином по разным языкам типе движения к возникновению «теневого семантики». Сюда относится и такое явление, как постепенное элиминирование определяющих слов в тех случаях, когда они семантически не нагружены. Например, посессивы при именах «неотчуждаемой принадлежности» или именах, входящих в семантическое поле посессора, часто элиминируются или, если вставляются, то как бы «надстрочно», с ненейтральными прагматическими коннотациями. Так, анализ показывает, что в старославянских евангельских текстах по сравнению с греческим оригиналом осуществляются вставки посессивов, но не их элиминирование (см. выше о «большой зрелости» греческого). Эти вставки появляются, например, при характеристике однозначно трактуемых лиц: в речи Христа при лексеме «отец» — *мѣнога дѣла ѣвихъ въ васъ отъ отъца моего* (И.10.32; греч. *ἐκ τοῦ πατρὸς*); *ѣко не наоучи мѧ отъцъ мои* (И.8.28; греч. *ἐδίδαξαν μεὶς πατὴρ*); *ѣже видѣхъ оу отца моего* (И.8.38; греч. *ὅρακα παρὰ τῷ πατρὶ*). Также отмечаются вставки в текстах о близких кровных родных в непрямой речи:

гла матери своею (И.19.26; греч. λέγει τῇ μητρὶ); посылъ бо бѣ сна своего въ миръ (И.3.17; греч. ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱόν); бѣ възлюби мира. бѣко сна своего иносѣдааго — дасть (И.3.16; греч. ὥστε τὸν υἱὸν μονογενῆ).

Самое большое число вставок-посессивов представлено при лексеме *ученики* (ученики Христа) в тех текстах, где принадлежность конкретизирована контекстом и потому с современной точки зрения посессив избыточен. Например, пристѣпиша къ нему оуцѣници его (Мф. 24.1; греч. προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταί); оуцѣници его рѣша емоу (Мф. 15.12; греч. οἱ μαθηταί λέγουσιν αὐτῷ); въпросиша и оуцѣници его (Мф. 17.10; греч. ἐπηρώτησαν αὐτόν οἱ μαθηταί) [13, с. 236—237].

В позднейших славянских языках насыщенность высказывания посессивами начинает уменьшаться. Прежде всего посессив начинает опускаться в языках с «недоразвитым» артиклем по отношению к именам неотчуждаемой принадлежности. При этом трактовка этой неотчуждаемой принадлежности может диахронически меняться, отражая соответствующие изменения «картины мира» (о «картине мира» в связи с посессивностью см. раздел А. В. Головачевой в [13]).

III

Все сказанное выше является не только формулировкой общей диахронической тенденции («закона»?), но и стремлением обратить внимание на то, что хотя презумпция глобальной содержательной неизменности меняющихся языковых систем методически «удобна», она по сути может обеднять диахронические наблюдения, которые иначе могут привести к реконструкции реликтовых состояний, никак позднейшей типологией не засвидетельствованных.

За признанием языковой неизменности и отрицанием эволюции (существенно подчеркнуть, что речь идет о целом, а не об отдельных фрагментах языковой системы), как представляется, стоит еще нежелание признать естественно вытекающие из эволюционной гипотезы идеи о первичности ряда языковых слоев, о первоэлементах плана содержания и плана выражения. Языковые системы, таким образом, предстают как в той или иной мере извечные (в отличие от всех других антропоцентрических гуманитарных систем). Возможно, что это так и есть, но само по себе — это презумпция, но не аксиома. (Не исключено, что основанием для этого служат и циклические процессы, отрицать которые невозможно, а также выравнивание по категориям, отличающееся по языкам, различные по воздействию аналогические явления.) Сказанное можно пояснить простыми примерами. Так, известно, что многие функционально значимые элементы слова по своему происхождению восходят к неразложимым минимальным элементам-частицам, которые при синтактизации, реанализе поверхностной структуры «прилипают» к разным компонентам, становясь уже грамматическими показателями. Ю. С. Степанов пишет о «парадигме частиц» [44, с. 87 и сл.]. В его книге разбираются, в частности, и.-е. частицы направления; становятся отчетливо видны межклассовые исходные звуко-семантические корреляции в формах, которые впоследствии далеко разошлись. На связь дейктической исходной частицы *и- совершенных глагольных форм указывает также Т. Марки [45]. Вяч. Вс. Иванов показал связь частицы *е- в русск. *этот*, *его* с греческой частицей *ε* в аористе и имперфекте, ср. греч. (ἐπαῖον). Ранее эта частица относилась к предложению в целом [46].

Анализ фонда частиц славянских языков показывает, что бóльшая

часть коммуникативного общеславянского пласта (частицы, союзы, местоимения, местоименные наречия) строится из относительно небольшого числа исходных компонентов — «партикул», так что весь перечень лексем как бы очень похож на детскую игру «конструктор». Ср.: *и — и + + же — и + бо — и + ли — ли + бо — у + бо — у + же — а + же — да + же — е + да — е + же — е + же + ли — ли — е + то — то + + ли* и т. д.

Интересно, что этот общеславянский «конструктор» продуктивен до определенного времени (наиболее четко он представлен в старославянском); позже слова подобного типа создаются из форм знаменательных классов.

Консонантные опоры этого коммуникативного пласта вполне эксплицитны. Это —

v, s, j, z
b, t, d
k, c, č
m, n
l.

Оказывается возможным сформулировать основную семантику для каждой группы с одной и той же консонантной опорой. Например, *l* — значение разделительности с переходом в вопросительность; значение единственности — адверсативности; *m* — значение адвербиальности; *ř* — определенности, подтверждения, суживающейся идентификации и т. д. Однако общим ядром частиц с указанными консонантными опорами является семантика определенности/неопределенности (недаром Ю. С. Степанов в основном анализирует частицы в разделе «Дейксис и референция»). Сходные консонантные базы для местоименно-партикульного фонда финно-угорских частиц с близкими значениями приводит и К. Е. Майтинская [47]: *-n-, -t-, -d-, -s-, k-, j-*. К. Е. Майтинская называет подобные частицы первообразными, возникшими на основе звуковых комплексов междометийного характера [47, с. 152]. О первичной диффузности частиц, союзов, местоименных форм и наречий в ведийском пишет и Т. Я. Елизаренкова [48].

Но можно ли считать, что частицы (в основном CV-состава) являются как бы исходным коммуникативным фондом? Эта логичная точка зрения сразу же (но не в явном виде) отвергается в свете данных этимологических словарей. Мы узнаем, что многие «первичные» частицы восходят к застывшим формам местоимений. Например, *da* < **do(to)* (и.е. указательное местоимение); *e* < из указательного местоимения **e*; *i* < **ei* (локатив от указательного местоимения *e*); *a* < **ed/ōd* (Abl. Sing. от и.е. **e/o*) и т. д. Тогда как бы получается, что частицы коммуникативно-модального пласта вторичны, а в более глубокой истории лежит некий язык с разветвленной системой падежей, с богатой морфологией, с развитой анафорикой, т. е. с изменяемыми местоимениями, часть форм которых уже успела застыть, но без частиц и без союзов. Может ли это быть? Где же тогда частицы реконструируемого языка? Может ли сочетаться их отсутствие с богатой и давней системой местоимений с падежными формами, уже успешными «застыть» (см. у Т. Гивона [22] о логическом пути позднего возникновения анафорики)?

Думается, что дело обстоит здесь гораздо проще и важны здесь не факты языка, но факты лингвистики (ср. приведенное выше высказывание Э. Бенвениста: с. 15). Таким образом, первичность или диффузность

фонда частиц легко признается за пределами собственно этимологического каталогизирования.

Игнорирование проблем начала языкового развития статуса языка в его архаичном состоянии оставляет нерешенным целый ряд вопросов и делает многие концепции (выводы?) исследователей разных лингвистических дисциплин по существу несопоставимыми. Правда, характеризующая современное языкознание ситуация непересечения аксиом и гипотез разных областей лингвистики не препятствует мирному сосуществованию взаимоисключающих фактов и гипотез, поскольку языкознание все меньше становится «наукой о языке», но «наукой о языках» и наукой о сущности речевого общения.

При этом трудной остается проблема соотношения реконструируемой системы стихосложения, с одной стороны, и модели фразовой просодии — с другой. Усилиями А. Мейе, Р. Якобсона, М. Веста, Вяч. Вс. Иванова, В. Н. Топорова, М. Л. Гаспарова и др. реконструируется тип древнейшего индоевропейского стиха. Это — силлабический стих с двумя размерами: коротким (8 слогов) и длинным (10—12 слогов), оба размера варьировали, но не совпадали. Ни динамические, ни тонические характеристики в стихе не играли роли, упорядоченной была количественная структура, особенно в конечной зоне строки [49, 50]. Можно констатировать, что проделанный многими исследователями анализ стиха в его эволюции дает много для установления внутренней хронологии форм стиха, но не ставит вопроса о фразовой просодии. При решении его необходимо определить, считаем ли мы стих и просодию фразы древнейшего периода двумя параллельными системами (в связи с чем необходимо реконструировать две структуры) или же мы полагаем возможным вывести одну систему из другой, признав одну из них первичной. В 1979 г. [51] на базе экспериментально-фонетических исследований стиха нами было высказано предположение, что стих сохраняет наиболее архаические черты просодии: сильную количественную очерченность начала и конца строки, сглаженность мелодических характеристик, пониженную интенсивность ударных и т. д. Была высказана мысль о том, что стих сохраняет реликтовую основу просодии. Параллельно сходную мысль высказала и И. Лехисте [52], много работающая в последние годы над соотношением древнего стиха и древней просодии. Она пишет, что суперсегментная система языка кристаллизована в метрической структуре его традиционной поэзии.

Если и считать одну систему выводимой из другой, то первичность фразовой просодии нужно доказать, поскольку в принципе возможна и такая презумпция, что именно стих, создаваясь, упорядочил и структурировал языковую фразовую просодию, до него достаточно диффузную. Наконец, даже единообразие чтения стиховой модели носителями разных языков одной группы (например, славянских) тоже еще не является доказательством древности, поскольку допустимо и единообразие по отношению к жанру и его звуковому воплощению.

Для исторического языкознания фразовая просодия в ее современном интонологическом понимании (т. е. как многомерное пространство различным образом организованных структур, формируемых разными параметрами), строго говоря, вообще не существует. Ее заменяет идея позиций и слов (ударных vs. безударных), по своим синтаксическим задаткам занимающих те или иные позиции. Амбивалентность такого подхода хорошо прослеживается на примере так называемого «закона Вакернагеля», как будто бы не являющегося дискуссионным. Действительно, в ряде

своих работ [53, 54] Я. Ваккернагель пишет о том, что, во-первых, короткие слова, включая частицы, стягиваются в и.-е. предложении на второе место (*an zweiter oder so gut wie zweiter*) и, во-вторых, что эта позиция безударна. Итак, в этом широко известном законе остается неизвестным, где причина, а где следствие. Безударные ли слова тянутся на второе место или же, напротив, второе место само по себе безударно, а почему сюда именно стягиваются клитики — это уже особая причина. Сам Ваккернагель дает основание для обеих интерпретаций. Так, в частности, он пишет, что древние языки имеют тенденцию «*hinter das erste Wort des Satzes ein betontes zu setzen*» [53], т. е. безударность приписывает слово. В то же время в указанной работе он говорит о тенденции помещать в индоевропейском глагол придаточного предложения в его конец — *wo das Verbum den Ton trug*, т. е. уже приписывает акцентированность не слову, а позиции. Точно так же как соотношение позиций и словарной ударности/безударности Фр. Бадер описывает акцентную структуру индоевропейского предложения [55]. Она прямо связывает сегментные элементы, их место и акцент во фразе [55, с. 16]. Конечная позиция, согласно Ф. Бадер, — индифферентна по отношению к акценту (а с точки зрения интонолога, наоборот, конечное фразовое понижение, очевидно, было настолько сильным, что подавляло словесный акцент), в начальной — первое слово акцентировано. Все эти теоретические сложности, в свою очередь определяющие и трудности конкретных рассуждений и выводов, связаны с проблемой эволюционного статуса. Возможен, наконец, и принципиально различный подход к реконструкции материальных (знаменательных) и реляционных компонентов языковой структуры. Особенно — как это видно на примерах синтаксических и просодических — сложно восстановление значимости последовательных линейных моделей. Иначе говоря, корневой компонент принципиально отличен от синтаксического. В этом отношении скепсис В. Лайтфута [50] в отношении синтаксических построений вполне соотносится с мыслью К. Уоткина: «Если мы хотим узнать, как говорили индоевропейцы, было бы полезно разобраться в том, о чем они говорили» [57, с. 314], т. е. проблема эволюционного статуса языка во многом неотделима от статуса его носителей и их умения варьировать синтаксические модели.

Все сказанное выше есть лишь призыв к дискуссии о возможностях и трудностях языковой телеологии. Вполне вероятно — и данных тому множество, — что в языковой истории новое не отменяет старое, а сосуществует с ним. Р. И. Аванесов отмечал в 1953—1954 учебном году в спецкурсе по фонологии, что языковые ярусы похожи на мастерскую столов: одни вполне готовы и ждут заказчика, другие сколачиваются, третьи существуют лишь в виде деталей и т. д. (только спустя десятки лет стали обсуждать идею несинхронности изменений членов одной парадигмы). На звуковом уровне сосуществует и по-сложная система реализации, и по-словная, и по-синтагменная, и по-фразовая. Синкретизм древней семантики часто просвечивает и в значениях как будто дифференцированных слов. Так, мы говорим: *Перед Новым Годом* (т. е. до точки отсчета) и *Нужно смотреть вперед*, т. е. после точки отсчета. А что значит: *Машина остановилась перед грузовиком*, т. е. до или после?

Наконец, тенденция к передаче все большего числа информации в единицу времени, отмеченная выше как эволюционная, является, по нашему мнению, именно тенденцией, осуществляемой в разных языках неединообразно со сложными компенсаторными корреляциями, пока еще не ясными. На каждом же синхронном срезе может быть представлена все

более дробящаяся типологическая пестрота. Исключительно важна относительность эволюционной хронологии: древние языки уже могут эволюционно быть более развитыми, чем не только синхронные им языки, но и языки значительно более поздние. Здесь необходимо сказать об установке переводчиков, которые интуитивно движутся иногда по оси хронологии вперед, пока не найдут должного языкового уровня. В этом отношении близкую к нам позицию занимают «девелопменталисты», связывающие уровень языка с его коммуникативными возможностями. Они утверждают, в частности, что «нужно скептически относиться к идее о том, что все языки равно „полнокровны“ (healthy) и хорошо приспособлены для обслуживания коммуникативных нужд их носителей» [58].

Все ли языковые изменения обслуживают указанную эволюционистскую тенденцию? Несомненно, не все. Многие изменения — результат сложных компенсаторных тенденций, многие подчинены внутрисистемной динамике. И, наконец, возможно и движение к регрессу, языки умирают, распадаются, деградируют. Так, например, для умирающих языков отмечаются такие параллельные процессы, как структурное (и стилистическое) упрощение и стремительное возрастание вариативности. Например, для фонологических процессов «умирающих» америндейских языков чипевьян и сарси характерно наличие постоянно возникающих «беспорядочных» инноваций [59].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Lass R. On explaining language change. Cambridge, 1987.
2. Explanation in linguistics / Ed. by Hornstein N., Lightfoot D. L.; N. Y., 1981.
3. Bichakjian B. The evolution of word order: a paedomorphic explanation // Papers from the 7-th International conference on historical linguistics. Amsterdam; Philadelphia, 1987.
4. Hammarström G. Explanation in linguistics // *Spracherwerb und Mehrsprachigkeit*. Tübingen, 1986.
5. Соловьев Вл. Философские начала цельного знания // Соловьев В. С. Соч.: В 2-х т. Т. 2. М., 1988.
6. Jakobson R. К характеристике Евразийского языкового союза // Jakobson R. Selected writings. V. I: Phonological studies, 's-Gravenhage, 1962.
7. Сэнуп Э. Язык. М.; Л., 1934.
8. Shapiro M. Sapir's concept of drift in semiotic perspective // *Semiotica*. 1987. V. 67. № 3—4.
9. Dybo V. On the origin of morphonemicized accent systems // *Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences*. Tallinn, 1987.
10. Dutch studies in South Slavic and Balkan linguistics. Amsterdam, 1987.
11. Robinson D. F. Vowel lengthening and métatonie rule in Lithuanian // *In honor of Ilse Lehisté*. Dordrecht; Providence, 1987.
12. Гринберг Дж. Некоторые грамматические универсалии, преимущественно касающиеся порядка значимых элементов // *Новое в лингвистике*. Вып. V. М., 1970.
13. Категория посессивности в славянских и балканских языках. М., 1989.
14. Манучарян И. К. К вопросу о выражении принадлежности в русском языке начала XVII в. // *Вестник Ереванского университета. Общественные науки*. 1984. № 2.
15. Николаева Т. М. Средства различения посессивных значений: языковая эволюция и ее лингвистическая интерпретация // *Славянское и балканское языкознание*. М., 1986.
16. Hombert J.-M., Ohala J. J. Historical development of tone patterns // *Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science*, 1982. V. IV.
17. Hombert J.-M., Ohala J. J., Ewan W. G. Phonetic explanation for the development of tones // *Language*. 1979. V. 55. № 1.
18. Ohala J. J. Phonetic universals in phonological system and their explanation // *Symposium 5. Phonetic explanations in phonology. Proc. of 10-th International congress of phonetic sciences*. Dordrecht, 1984.

19. Герценберг Л. Г. Вопросы реконструкции индоевропейской просодики. Л., 1981.
20. Николаева Т. М. Коммуникативно-дискурсивный подход и интерпретация языковой эволюции // ВЯ. 1984. № 3.
21. Givón T. On understanding grammar. New York; San Francisco; London, 1979.
22. Givón T. The drift from VSO to SVO in Biblical Hebrew // Mechanisms of syntactic change. Austin, 1977.
23. Бенвенист Э. Взгляд на развитие лингвистики // Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974.
24. Семереньи О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
25. Greenberg J. H. Diachrony, synchrony and language universals // Universals of human language. V. I. Stanford, 1978.
26. Nikolayeva T. The typology of sentence intonation systems // Proc. of XI-th International congress of phonetic sciences. V. 6. Tallinn, 1987.
27. Николаева Т. М. Фонетическая природа греческого и латинского ударения: преемственность, эволюция, скачок? // Палеобалканистика и античность. М., 1989.
28. Беляский В. М., Гейльман Н. И., Щербакова Л. П. Стиль, темп и сегментные характеристики речи // Экспериментально-фонетический анализ речи. Л., 1984.
29. Dermody Ph., Mackie K., Katsch R. Initial speech sound processing in spoken word recognition // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 4. Tallinn, 1987.
30. Fant G., Nord L., Kruckenberg A. Segmental and prosodic variabilities in connected speech. An applied data-bank study // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 6. Tallinn, 1987.
31. Studies in compensatory lengthening. Dordrecht, 1986.
32. Fletcher J. Some micro-effects of tempo change on timing in French // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 3. Tallinn, 1987.
33. Vygonnaya L. The variation in the word phonetic structure caused by speech tempo variation // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 3. Tallinn, 1987.
34. Di Cristo A. De la microprosodie à l'intonosyntaxe. T. I. Aix-en-Provence, 1985.
35. Тронский И. М. Древнегреческое ударение. М.; Л., 1962.
36. Pompino-Marshall B., Grosser W., Hubmaier R., Wieden W. Is German stress-timed? A study of vowel compression // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 2. Tallinn, 1987.
37. Fischer-Jørgensen F. Segment duration in Danish words: dependency on higher-level phonological units // In honor of I. Lehist. Dordrecht, 1987.
38. Строева Т. Явление сандхи и ритмическая организация синтагмы в русском и болгарском языках // Proc. of the XI-th International congress of phonetic sciences. V. 6. Tallinn, 1987.
39. Николаева Л. Реализация согласных при сандхи (на стыке клитик и знаменательного слова) в русском и болгарском языках // Proc. of the XI International congress of phonetic sciences. V. 2. Tallinn, 1987.
40. Пауфощима Р. Ф. Об использовании регистровых различий в русской фразовой интонации (на материале русского литературного языка и севернорусских говоров) // Славянское и балканское языкознание. М., 1989.
41. Пауфощима Р. Ф. Следы музыкального ударения в современном вологодском говоре // Диалектография русского языка. М., 1985.
42. Pulgramm E. Latin-Romance phonology: prosodics and metrics. München, 1975.
43. Bauerová M. Staroslověnské spojky *bo*, **nebo*, *neboň* a *ibo* // Studie ze slovanské jazykovědy. Praha, 1958.
44. Степанов Ю. С. Индоевропейское предложение. М., 1989.
45. Markey T. L. Deixis and the U-Perfect // JIES, 1979. V. 7. № 1—2.
46. Иванов Вяч. Вс. Отражение правил индоевропейской синтаксической акцентуации в микенском греческом // Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979.
47. Майтинская К. Е. Служебные слова в финно-угорских языках. М., 1982.
48. Елизаренкова Т. Я. Грамматика ведийского языка. М., 1982.
49. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Ч. II. Тбилиси, 1984.
50. Гаспаров М. Л. Очерк истории европейского стиха. М., 1989.
51. Николаева Т. М. Стихотворная и прозаическая строки: первичное и модифицированное // Balcanica. Лингвистические исследования. М., 1979.
52. Lehist I. The Estonian translation of the elder Edda: problems of metric equivalence // IBS. 1983. V. XIX. № 3. P. 179.
53. Wackernagel J. Über ein Gesetz der indogermanischen Wortstellung // Wackernagel J. Kleine Schriften. Bd I. Göttingen, 1953. S. 1867.

54. *Wackernagel J.* Zwei Gesetze der indogermanischen Wortstellung // *Wackernagel J. Kleine Schriften. Bd III.* Göttingen, 1979.
55. *Bader Fr.* Structure de l'énoncé indo-européen // *Papers from the 7-th International conference on historical linguistics.* Amsterdam; Philadelphia, 1987.
56. *Lightfoot D.* On reconstruction of a protosyntax // *Linguistic reconstruction and Indo-European syntax.* Amsterdam, 1980.
57. *Watkins C.* Proto-Indo-European syntax: problems and pseudoproblems // *Papers from the parasession on diachronic syntax.* Chicago, 1976.
58. *Bailey Ch.-J., Harris R.* Editorial foreword — on developmentalism // *Developmental mechanisms of language.* Oxford, 1985. P. XI.
59. *Eung-Do Cook.* Is phonology going haywire in dying languages? Phonological variations in Chipewyan and Sarcee // *Language and society.* 1989. V. 18. № 2.